Ганс Христиан Андерсен

Ночной колпак старого холостяка

В Копенгагене есть улица с забавным названием Хюсхенстрэде. Почему она так называется и что означает это название? Слывет оно немецким, но, право, немцы тут ни при чем. Следовало бы выговаривать «Hauschen», а выговаривают «Хюсхен»; «Hauschenstrade» же значит: «Улица маленьких домиков». В ней и правда ютились домишки, вроде деревянных ярмарочных балаганчиков, разве чуть побольше да с окошками. Но стекол в окнах не было; их заменяли роговые пластинки или бычьи пузыри: в то время стекло еще было так дорого, что не всем по карману было вставлять его в окна. Давно это было, так давно, что даже прадедушкин прадед, рассказывая о тех временах, называл их старыми временами. Не одно столетие прошло с тех пор.
В Копенгагене вели в те времена торговлю богатые купцы из Бремена и Любека, разумеется, не сами, а через своих приказчиков. Последние-то и занимали эти деревянные лачуги на улице Маленьких домиков; в нижнем этаже каждого домика находилась лавочка, где шла торговля пивом и пряностями. Немецкое пиво в те времена славилось, и сколько сортов его было! И бремер-прусское, и эмское, и брауншвейгское. Из пряностей же бойко торговали шафраном, анисом, имбирем, а бойчее всего — перцем. Перец являлся главным предметом торговли, оттого и немецких приказчиков прозвали в Дании перечными молодцами. Хозяева брали с них обязательство не жениться на чужбине, они и не женились, доживали до старости холостяками. Некому было о них позаботиться, обшить, обмыть — самим приходилось им хлопотать по хозяйству, самим тушить огонь в очагах — тем, у кого он разводился. Многие, как сказано, доживали так до глубокой старости; у них заводились свои вкусы, свои привычки, и старые холостяки кое-как коротали свой век. С тех пор-то и вошло в обычай величать пожилых и неженатых мужчин перечными молодцами (По-датски «старый холостяк» — «Pebersvend», т. е. перечный молодец. — Примеч. перев.). Все это нужно знать, чтобы понять рассказ.
Над холостяком все подсмеиваются — пусть дескать нахлобучит свой ночной колпак да заваливается на боковую. О холостяках даже песенку сложили:

Пили, пили дрова,
Ты, старый холостяк!
Седая голова,
Твой друг — ночной колпак!

Да, вот что поют о них! Смеются и над холостяком, и над его колпаком, потому что мало знают и о том, и о другом. Ах, никто не пожелай себе этого ночного колпака! Почему так? А вот послушай!
В те времена на улице Маленьких домиков не было мостовой, и люди попадали из колдобины в колдобину, словно на изрытой проезжей дороге. А что за теснота там была! Домишки лепились один к другому, и между двумя противоположными рядами их оставался такой узенький проход, что летом с одного домика на другой перекидывали парусину; надо всей улицей образовывался навес, под которым так славно пахло перцем, шафраном и имбирем. За прилавком мало попадалось молодых приказчиков — больше все старики. Но не подумай, что все они носили парики или ночные колпаки, короткие кожаные панталоны до колен и куртки или кафтаны, застегнутые на все пуговицы. Нет, так одевался прадедушкин прадед, в таком костюме он и на портрете написан. Перечным молодцам же не по карману было заказывать свои портреты, а стоило бы списать портрет хоть с одного из почтенных стариков в то время, как он стоял за прилавком или шел в праздник к обедне! Наряд их состоял из широкополой с высокой тульей шляпы (приказчики помоложе часто украшали свои шляпы перышками), шерстяной рубашки, прикрытой отложным полотняным воротничком, куртки, застегнутой наглухо, плаща и панталон, всунутых в широконосые башмаки, — чулок они не носили. За поясом у каждого был заткнут нож, ложка и

еще большой нож для защиты — в те времена случалась и в этом нужда. Так одевался по праздничным дням и старый Антон, один из старейших обитателей улицы Маленьких домиков, только вместо шляпы он носил шапку с длинными наушниками, а под ней — вязаный колпак, настоящий ночной колпак. Старик так привык к колпаку, что не мог обойтись без него ни днем ни ночью, и у него так и было заведено два колпака для смены. Вот с Антона-то и стоило бы списать портрет: худ он был, как щепка, вокруг рта и глаз ежились сотни морщинок, пальцы были длинные, костлявые, над глазами нависли густые седые брови, над левым же торчал целый пучок длинных волос, который если и не красил Антона, то служил характерною приметой. Люди считали Антона бременцем, но в Бремене жил только его хозяин, сам же он был из Тюрингии, из города Айзенаха, что близ Вартбурга. Но о родине своей Антон не любил особенно распространяться, зато много думал о ней.

Старые приказчики не часто виделись друг с другом — каждый больше держался в своем уголке. Запирались лавочки рано, и домишки сразу погружались во мрак; лишь из крошечного рогового окошечка чердачной каморки, ютившейся под самою крышей, чуть светился огонек; старичок — обитатель каморки чаще всего сидел в это время на своей постели с немецким молитвенником в руках и напевал вечерний псалом или же далеко за полночь хлопотал по хозяйству, прибирая то одно, то другое. Несладко-то жилось ему: чужой всем, на чужбине — что уж за житье! Никому до него нет дела, разве станет кому поперек дороги!

Улица в глухую, темную, ненастную ночь смотрелась такой пустынной, мрачной; на всю улицу приходился один фонарь, да и тот висел в самом конце ее, перед нарисованным на стене образом Божьей Матери. Слышался лишь плеск воды, сбегавшей по деревянной обшивке набережной, другой конец улицы выходил на канал. Таким вечерам и конца не бывает, если не займешься чем-нибудь. А чем заняться старому холостяку? Развертывать и завертывать товары, свертывать «фунтики», чистить весы не приходится каждый день — надо, значит, заняться чем-нибудь другим. Старый Антон и находил себе занятия — сам чинил свое платье, сам ставил заплатки на сапоги. Улегшись же наконец в постель в своем неизменном колпаке, он обыкновенно нахлобучивал его пониже, но вслед за тем опять приподнимал его, чтобы посмотреть, хорошо ли погашена свечка, ощупывал ее на столике и прижимал фитиль двумя пальцами, потом ложился опять, повертывался на другой бок и опять надвигал колпак на брови. Но часто в эту самую минуту ему приходила мысль: а прогорели ли все уголья в грелке, оставленной внизу, в лавочке, потухла ли зола? Довольно ведь одной искорки — и не миновать беды! И он вставал с постели, осторожно слезал с крутой лесенки — лестницей ее и назвать было нельзя — и, добравшись до грелки, убеждался, что в ней не тлелось ни уголька. Теперь можно было вернуться обратно в свою каморку, но часто еще на полдороге его брало сомнение: заперты ли на крюк двери и ставни? И он снова ковылял на своих тонких ногах вниз. Дрожь прохватывала его, зубы так и стучали, когда он опять добирался до постели: известно, что дрожь тогда-то и принимается хорошенько трепать человека, когда видит, что тот спасся от нее в теплую постель. Антон повыше натягивал на себя пуховик (В Дании и до сих пор, особенно среди сельского населения, принято спать зимой под тонкими перинами вместо одеял. — Примеч. перев.) нахлобучивал колпак на глаза, и мысли его наконец отрывались от дневных хлопот и забот, но не на радость ему! На смену тревогам и заботам настоящего являлись воспоминания прошлого и развешивали перед ним на стене свои узорчатые ковры. Но в них часто попадаются острые булавки — уколют так, что невольно закричишь от боли, а если воткнутся тебе в живое тело поглубже — даже слезы прошибут! Падая на пуховик или на пол, эти чистые, прозрачные, как жемчужины, слезы звенят, словно лопаются наболевшие сердечные струны. Слезы скоро испаряются, но вспыхивают перед тем ярким пламенем и успевают осветить картину прошлого, одну из тех, что никогда не изглаживаются из памяти. Антон отирал эти слезы ночным

колпаком, и слеза, и картина стирались, но источник их, разумеется, оставался — источником было ведь сердце старика. Картины жизни являлись ему не в том порядке, в каком они следовали друг за другом в действительности; чаще всего рисовались самые печальные, мрачные, но являлись и светлые, радостные; эти-то и наводили на него самую сильную грусть, сгущая тени настоящего.
«Хороши датские буковые леса!» — говорят у нас, но для Антона буковые леса в окрестностях Вартбурга были куда лучше! Мощнее, почтеннее датских казались ему родные немецкие дубы, росшие вокруг гордого рыцарского замка, где вьющиеся растения обвивали каменистые скалы; слаще благоухали для него родные цветущие яблони, нежели датские! Он все еще как будто вдыхал их аромат!.. Слеза скатилась, зазвенела и вспыхнула, ярко осветив двух играющих детей: мальчика и девочку. У мальчика были красные щеки, светлые кудри и честные голубые глаза; он был сыном богатого торговца, звали его Антоном... Да, это он сам! У девочки же были черные глаза и черные волосы, умный и смелый взгляд; это была дочка городского головы, Молли. Дети играли яблоком; трясли его и прислушивались, как гремят в нем зернышки. Потом они разрезали яблоко, и каждому досталась половинка. Зернышки они тоже поделили и съели все, кроме одного. Его надо было закопать в землю — так придумала девочка.
— Вот увидишь потом, что из него выйдет! Ты и не ожидаешь — что! Целая яблоня, только не сейчас!
И дети принялись хлопотать с зернышком, достали цветочный горшок с землей, мальчик проткнул в земле пальцем ямку, девочка положила туда зернышко, и оба старательно закопали его.
— Только смотри не вздумай завтра вытаскивать зернышко, чтобы поглядеть, пустило ли оно ростки! — сказала Молли Антону. — Этого нельзя! Я вот так сделала со своими цветочками всего два раза — я хотела поглядеть, растут ли они, тогда я еще не понимала, что этого нельзя, — и цветочки погибли!
Цветочный горшок остался у Антона, и мальчик каждый день подходил к нему поглядеть, не выросло ли чего-нибудь, но, кроме черной земли, в горшке ничего не было. Наконец настала весна, солнышко стало пригревать теплее, и из земли выглянули два крошечных зеленых листочка.
— Это я с Молли! — сказал Антон. — Вот чудесно-то!
Скоро появился и третий листочек — а это кто же? Потом еще и еще! День за днем, неделя за неделей, и из зернышка выросло целое деревце. Все это осветила одна слезинка; вот ее стерли, и все исчезло. Но источник слез был неиссякаем — источником было ведь сердце старого Антона.
Близ Айзенаха проходит гряда каменистых возвышенностей; круглая вершина одной из них совершенно оголена — ни деревца, ни кустика, ни травки; зовут ее горой Венеры: по преданию, здесь жила Венера, древняя языческая богиня; но немцы переименовали ее в госпожу Голле, которую знает в Айзенахе каждый ребенок. Она заманила к себе благородного рыцаря Тангейзера, миннезингера из Вартбурга.
Молли и Антон часто подходили к горе, и раз девочка сказала:
— Ну-ка, постучи и крикни: «Госпожа Голле, госпожа Голле! Отвори Тангейзеру!»
Антон не посмел, а Молли посмела, но громко и ясно она сказала только: «Госпожа Голле, госпожа Голле», остальное же пробормотала так невнятно, что, по мнению Антона, ничего, собственно, и не сказала. Смелая была эта Молли! Такая смелая, что одна из всей толпы сверстниц целовала Антона, хотя хотелось всем, — именно потому, что он не хотел и отбивался от поцелуев руками и ногами.
— Я смею его поцеловать! — говорила Молли гордо и обвивала шею Антона рукой.
Это было ее торжеством, Антон же покорялся ей, вовсе не думая о том, что делает. Ах, какая она была хорошенькая, какая смелая!
Госпожа Голле, что жила в горе, тоже, говорят, была хороша собою, но ее красота была

соблазнительной красотой зла. Высшею красотой считалась, напротив, красота святой Елисаветы, покровительницы страны, благочестивой Тюрингской герцогини, добрые дела которой живут в легендах и сказаниях, освящающих здешние места. В часовне висел ее образ, а перед ним — серебряная лампада. Но святой Елисавета нисколько не была похожа на Молли.
А яблонька, которую посадили дети, росла да росла, так что, наконец, пришлось пересадить ее в сад, под открытое небо, где ее кропило росою, пригревало солнышком, и она окрепла настолько, что могла выдержать и зиму. Весной же, словно от радости, что пережила суровую зиму, она зацвела и осенью принесла два яблочка: одно для Молли и одно для Антона — меньше уж никак нельзя было.
Деревце торопилось расти, Молли не отставала; она напоминала своею свежестью цветок яблони, но недолго Антону пришлось любоваться на этот цветок. Все проходит, все изменяется! Отец Молли оставил родину и уехал с Молли далеко-далеко. В наше время торжества пара понадобилось бы всего несколько часов, тогда же надо было ехать больше суток, чтобы добраться до того города, куда они уехали. Он находился восточнее Айзенаха, совсем в другом конце страны; это был город Веймар.
Молли плакала, и Антон плакал — все эти слезы соединились теперь в одну, отливавшую яркими радужными красками: Молли ведь сказала Антону, что любит его больше всех прелестей жизни в Веймаре!
Прошел год, два, три. За это время от Молли пришло два письма; одно привез с собой торговый комиссионер, другое — какой-то проезжий. Дорога была длинная, трудная, извивавшаяся мимо разных городов и местечек.
Всякий раз, как Антон с Молли слушали легенду о Тристане и Изольде, ему почему-то казалось, что говорят про него и Молли, хотя имя Тристан означало «рожденный для скорби», а это совсем не подходило к Антону. Ему же не придется, как Тристану, вздыхать: «Она забыла меня!» Изольда, впрочем, и не забывала друга сердца, и, когда оба умерли и были похоронены по разные стороны церкви, на могилах их выросли две липы и сплелись ветвями над церковною крышей. История эта казалась Антону такою поэтическою и такою печальною... Но в его отношениях с Молли не могло быть ничего печального, и он принимался насвистывать песенку миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде:

Ах, под липой, в степи!..
Особенно дивно звучали следующие строфы:

Раздается из леса душистого:
«Тиндарадай!» —
Трель певца — соловья голосистого!
Песня эта вечно вертелась у него на языке; он напевал и насвистывал ее и в ту ясную лунную ночь, когда несся на коне в Веймар навестить Молли; он хотел явиться нежданным гостем — так и вышло.
Приняли его ласково; вино запенилось в бокалах; он встретил здесь веселое, знатное общество, нашел уютную комнатку и мягкую постель, и все же — не того ожидал он, не о том мечтал! Он сам не понимал себя, не понимал других, но мы-то поймем, в чем было дело! Можно быть хорошо принятым в доме, в семействе и все-таки чувствовать себя чужим; разговоры ведешь, как в почтовой карете, знакомишься, как в почтовой карете, стесняешься, желаешь или сам уйти, или как-нибудь спровадить своего доброго соседа! Нечто подобное испытал и Антон.
— Я честная девушка! — сказала ему Молли. — И сама хочу сказать тебе все. Многое изменилось

с той поры, как мы были детьми. Перемены эти и внешние, и внутренние. Привычка и желание ничего не могут поделать с сердцем! Антон! Уезжая отсюда далеко-далеко, я не желала бы расстаться с тобою, как с недругом! Верь мне, я расположена к тебе, но любить тебя так, как, я знаю теперь, можно любить другого человека, я тебя никогда не любила! Примирись с этим!.. Прощай Антон!

И Антон отвечал: «Прощай!» Ни одной слезинки не выступило у него на глазах, но он понял, что перестал быть другом Молли. И раскаленные и замерзшие пластинки железа одинаково сдирают кожу с губ, если станешь целоваться с ними, Антон же одинаково крепко целовался и с любовью, и с ненавистью!

Не прошло и суток, как Антон был уже дома. Зато он и загнал лошадь.

— Пусть! — сказал он. — Я сам загнан и хотел бы загнать, уничтожить все, что напоминает мне о ней — госпоже Голле, госпоже Голле, госпоже Венере, проклятой язычнице!.. Яблоню я вырву с корнем, изломаю в куски! Не цвести ей больше, не приносить плодов!

Но не дерево было сломлено, а сам Антон: жестокая лихорадка уложила его в постель. Что же могло поставить его на ноги? Подоспело лекарство, самое горчайшее из всех, которое встряхивает больное тело и изнывающую душу, — удар судьбы: отец Антона разорился. Тяжелые дни, дни испытания стучались в дверь, беда уже вломилась в нее, хлынула в когда-то богатый дом волною. Отец Антона обеднел, горе и заботы надломили его здоровье, и у Антона нашлись занятия, кроме любовной хандры да злобы на Молли. Теперь он должен был заменить в доме и хозяина, и хозяйку, распоряжаться всем, привести в порядок все. Потом пришлось покинуть родину, идти на чужую сторону зарабатывать кусок хлеба. Отправился он в Бремен, немало изведал нужды и горя, а это либо закаляет душу, либо расслабляет ее — иной раз даже чересчур. Как, однако, не соответствовали свет и люди сложившемуся у него в пору детства представлению о них! «А песни миннезингеров, что они такое? — рассуждал он теперь. — Звук пустой!» Но иногда в его душе опять звучала сладкая мелодия, и он смягчался.

— Бог все устраивает к лучшему! — говорил он себе. — И хорошо сделал он, что не дал Молли привязаться ко мне сердечно. К чему бы это привело теперь, когда счастье отвернулось от меня? Она оттолкнула меня раньше, чем могла знать или предполагать о моем разорении. Бог оказал мне милость! Все было к лучшему! Он устраивает все премудро! Она не была виновата ни в чем, а я-то возненавидел ее!

Годы шли. Отец Антона умер; чужие люди поселились в родном доме. Антону пришлось все-таки увидать его еще раз. Хозяин послал его по торговым делам, и ему случилось проезжать через свой родной город Айзенах. Старый замок Вартбург стоял на скале по-прежнему; по-прежнему окружали его каменные «монахи» и «монахини» и мощные дубы; все было, как во времена его детства. Гора Венеры по-прежнему блестела на солнце своею серою голою вершиной. Как охотно постучался бы в нее Антон и сказал: «Госпожа Голле, госпожа Голле! Отвори мне, укрой меня в недрах родной земли!»

Грешная это была мысль, и он осенил себя крестом; тут в кустах запела птичка, и Антону вспомнилась старая песня:

Раздается из леса душистого:
«Тиндарадай!» —
Трель певца — соловья голосистого!

Сколько воспоминаний пробудилось в его душе при виде города, где протекло его детство; слезы застилали его глаза. Отцовский дом стоял все на том же месте, но часть сада была уничтожена, отошла под проезжую дорогу, и яблоня, которой он так и не вырвал, очутилась вне сада, по ту

сторону дороги. Но солнышко по-прежнему пригревало ее, роса кропила, и ветви ее гнулись под обилием плодов к самой земле.
— Растет себе! — сказал Антон. — Что ей делается!
Но одна из самых больших ветвей яблони была надломлена чьею-то шальною рукой, ведь дерево стояло у проезжей дороги!
«Обрывают ее цветы, не говоря даже спасибо, крадут плоды и ломают ветви! Да, и про дерево можно сказать то же, что говорится иногда про человека: «Не пели над его колыбелью, что ему придется когда-нибудь стоять вот так!» Заря его жизни занялась так ярко, красиво, а что дала ему судьба? Садовому дереву пришлось расти возле канавы, в открытом поле, у проезжей дороги! Стоит оно тут одинокое, забытое, беззащитное. Все его теребят, ломают! Оно еще не вянет от этого, но с годами цветов на нем будет все меньше, плодов не будет вовсе, а потом и дереву конец.
Вот что думал Антон под деревом; те же мысли часто бродили у него в голове в долгие бессонные ночи, которых немало провел он в своей одинокой каморке, в деревянной лачуге, на чужой стороне, на улице Маленьких домиков в Копенгагене, куда послал его богатый бременский купец, хозяин его, взяв с него сначала слово никогда не жениться.
— Жениться! Хэ, хэ! — рассмеялся он странным, глухим смехом.
Зима установилась в этот год рано; мороз так и трещал; на дворе разыгралась такая вьюга, что все, кто только мог, держались у себя в теплом углу. Оттого соседи Антона и не заметили, что лавочка старика не отпирается вот уже два дня: кто бы высунул нос в такую погоду, если только можно было оставаться дома?
Дни стояли серые, мрачные, и в жилище Антона с маленьким подслеповатым оконцем долгая ночь сменялась лишь тоскливыми сумерками. Старый Антон два дня не вставал с постели — силы его оставили. Непогода давала себя знать ломотой во всем теле. Одинокий, беспомощный, оставленный всеми, лежал старый холостяк в кровати и едва мог даже дотянуться до кружки с водой, которую поставил у изголовья. Но вот в кружке не осталось больше ни капли. Уложила Антона в постель не лихорадка, не другая болезнь, а старость. Для Антона как бы наступила долгая-долгая ночь. Маленький паучок, которого Антон не мог видеть, весело и прилежно прял над ним свою паутинку, словно спеша приготовить новый, свежий траурный креп к тому времени, когда старик закроет глаза.
Антона одолевала тяжелая дремота. Слез у него не было, боли он тоже не чувствовал, о Молли и не вспоминал. Ему казалось, что мир с его шумом и жизнью был уже не для него, — он остался как-то в стороне: никому не было до него дела. Вдруг ему показалось, что он голоден и хочет пить... Да, правда, он ощущал и голод, и жажду. Но никто не приходил утолить их, никто и не придет. И он вспомнил о других голодающих, и о святой Елисавете, покровительнице его родины и детства, благородной герцогине Тюрингской, которая сама заходила в жалкие лачуги и приносила страждущим надежду и облегчение. Благочестивые дела ее сияли в его памяти: он вспомнил, как она являлась к страдальцам со словами утешения, омывала их раны, приносила голодным пищу, хотя ее суровый муж и гневался на нее за это. Антон вспомнил и легенду о святой Елисавете. Однажды она отправилась, по обыкновению, с корзинкой, наполненной съестными припасами, как вдруг ей преградил дорогу муж, следивший за каждым ее шагом, и спросил, что у нее в корзине. Святая в испуге отвечала: «Розы из сада». Муж сорвал салфетку и — чудо совершилось для благочестивой женщины: вино и хлеб превратились в розы!
Святая Елисавета не выходила из головы Антона: как живая стояла она перед его усталым взором, возле его кровати, в жалкой каморке, в чужой земле. Он обнажил голову, взглянул в ее кроткие глаза — и все вокруг него вдруг засияло, каморка наполнилась розами... Как они благоухали! К их аромату примешивался запах цветов яблони... Антон очутился под яблоней, осенявшей его своими

ветвями. Она выросла из семечка, которое посадили когда-то в землю Антон с Молли.
Дерево роняло свои благоухающие листья на пылающий лоб Антона, и они освежали его, на его запекшиеся губы, и ему казалось, что он вкушает хлеб и вино, на его грудь, и ему вдруг стало так легко, так захотелось забыться сладким сном.
— Теперь я засну! — прошептал он. — Сон подкрепляет! Завтра я опять буду здоров, опять встану! Как хорошо, как хорошо! Я вижу, как великолепно расцвела яблоня, выросшая из зернышка любви.
И он заснул.
На другой день — это был уже третий день, как лавка Антона не отпиралась, — вьюга утихла, и соседи хватились старика. Его нашли мертвым в постели; в руках он крепко сжимал свой старый ночной колпак. Но его не положили с Антоном в гроб: в запасе был еще один, чистый, ненадеванный.
Куда же девались теперь все слезы Антона? Куда девались эти жемчужины? Они остались в его ночном колпаке, ведь их нельзя было отмыть никаким мылом, они так и остались в колпаке скрытыми и забытыми. Мысли и думы тоже остались в колпаке старого холостяка. Не пожелай его себе! Лоб твой разгорячится, пульс забьется ускоренно, и тебе приснятся сны, похожие на действительность. Это пришлось испытать первому же, кто надел колпак, а случилось это спустя целых пятьдесят лет! Надел его сам городской голова, человек женатый, отец одиннадцати детей, живший в свое удовольствие, и ему сейчас же приснились во сне несчастная любовь, банкротство и борьба из-за куска хлеба!
— Фу, как этот колпак греет! — сказал он, срывая его с себя, и из колпака выкатилась жемчужинка, потом другая; как они зазвенели и заблестели! — Это ревматизм! — решил голова.
— И в ушах звенит, и из глаз искры сыплются!
А это были слезы, пролитые пятьдесят лет тому назад стариком Антоном из Айзенаха.
И кому ни попадал этот колпак на голову, тому сейчас снились подобные же сны; он как будто сам переживал историю Антона. Выходила целая сказка, да и не одна. Но пусть рассказывают их другие, а мы одну уж рассказали и кончим ее словами: «Никто не пожелай себе колпака старого холостяка!»